

«Дневник»

Любови Шапориной

Публикация издательством «Новое литературное обозрение» обширного «Дневника» Любови Васильевны Шапориной¹ (1879–1967) – женщины, по воспитанию и образу мыслей принадлежавшей к дореволюционной интеллигенции, но волею судьбы проведшей большую часть жизни в ненавидимой ею послереволюционной, Советской России, – уже успела вызвать не только заметный интерес читателей, но и многочисленные отклики и рецензии². В большинстве из них речь идёт о парадоксах мировоззрения Шапориной и о мрачном колорите эпохи, блестяще воссоздававшемся ею в дневнике на протяжении многих десятилетий. Но чем же следует считать сам опубликованный текст: своеобразным идеологическим памфлетом, литературным произведением, адекватной фиксацией в слове окружавшей автора исторической реальности или, наконец, и тем, и другим, и третьим одновременно? Какие вызовы ставит перед историками сам феномен «нонконформистского» дневника в тоталитарном обществе и какие вопросы следует задавать этому тексту как историческому источнику? Что нового способен сообщить дневник Шапориной исследователям сталинской эпохи и других периодов отечественной истории?

В обсуждении книги приняли участие доктор исторических наук О.В. Будницкий (Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики; Институт российской истории РАН), И.В. Нарский (Национальный исследовательский Южноуральский государственный университет, Челябинск), Т.М. Смирнова (Институт российской истории РАН), А.Б. Соколов (Ярославский государственный педагогический университет), С.В. Яров (Санкт-Петербургский государственный университет им. А.И. Герцена).

Татьяна Смирнова: Рассматривать по всем правилам источниковедческой критики

Дневниковые записи Л.В. Шапориной, талантливой художницы, переводчицы, создательницы первого в Советской России театра марионеток, начинаются в ноябре 1898 г. и охватывают почти 70 лет (последняя запись сделана 19 марта 1967 г.). Уже один этот факт делает двухтомный дневник уникальным источником для изучения истории России XX в. С энтузиазмом взявшись

¹ Шапориная Л.В. Дневник. В 2 т. / Вступ. статья В.Н. Сажина. М.: Новое литературное обозрение, 2012. Изд. 2. Т. 1. 592 с. Т. 2. 640 с. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

² Шикман А. «Мне всё время стыдно». Дневник бывшей дворянки в эпоху непросвещённого абсолютизма // НГ Ex Libris. 2011. 17 ноября; Степанова М. Дневник, несовместимый с жизнью // Коммерсант. 2011. 6 сентября; Фрумкина Р. Дневник цельного человека // http://polit.ru/article/2011/07/29/shaporina_diary/; Михалик Е. Путеводитель по дважды загробному миру // Новый мир. 2012. № 7; Боровиков С. Строгий свидетель // Знамя. 2012. № 8; и др.

за изучение дневника, я, признаться честно, поначалу была сильно разочарована. Написанное одним из публикаторов дневника, В.Н. Сажиним, предисловие предвещало весьма познавательное и крайне любопытное для историка чтение. Сажин назвал дневник «путеводителем абсолютно по всем аспектам жизни 1920–1960-х гг.: повседневному быту; умонастроениям интеллигенции, рабочего класса, крестьянства; политической истории и истории культуры – театра, музыки, живописи» (I, с. 6). Я же поначалу видела лишь обыкновенный дневник юной барышни, барышни образованной и неординарной, но писавшей (как, собственно, и положено в девичьем дневнике) о своих душевных переживаниях, эмоциональных потрясениях, взаимоотношениях с родными. «Если бы я только могла не копаться в себе, не анализировать малейшее своё ощущение. Ведь этот самоанализ прямо возмутителен – он мне ни на минуту не даёт покоя», – пишет о себе юная Любовь Шапорина (до замужества Яковлева) в 1901 г. (I, с. 42). Этот «самоанализ» и является основным содержанием дневника вплоть до 1917 г. Можно сказать, что для историка ранние записи Шапориной представляют собой ценность не столько как источник по истории России и российского общества в целом, сколько с точки зрения гендерного направления в истории, для анализа психоэмоционального состояния молодых девушек из интеллигентной среды в конце XIX – начале XX в., а также для изучения биографии самой Шапориной.

«Неужели же никогда никому и ничему не будет пользы от меня – лучше просто умереть»; «жизнь надоела»; «жизнь, жизнь, где ты, живут же некоторые... Ах, пусто, пусто, пусто»; «для меня счастья быть не может»; «над моей жизнью я должна поставить крест»; «не могу я жить среди людей, тяжело мне и грустно» (I, с. 25, 31, 38, 42, 47, 48). Читая все эти бесконечные жалобы на жизнь, я с сомнением смотрела на два толстенных тома, задумываясь о том, стоит ли профессиональному историку тратить время на чтение подобных глубоко личных душевных излияний. Мой профессиональный интерес «проснулся», лишь когда я дошла до записей 1917 г. А вскоре изменилось и общее отношение как к дневнику, так и к его автору.

В марте 1917 г. характер дневниковых записей резко меняется. «Хочу записывать дела наших дней..., – пишет Шапорина 1 марта 1917 г. – Брошу-ка я рассуждения, будущее покажет, опишу эти дни» (I, с. 54). И действительно, она очень подробно описала несколько дней Февральской революции в Петрограде, замечательно передав царившую в городе атмосферу. Далее записи внезапно прерываются. Следующая дневниковая запись была сделана уже в Париже в марте 1927 г. Однако Октябрьская революция и последующие революционные преобразования довольно подробно описаны в дневнике в более поздних воспоминаниях³, а также в приложении «За пятнадцать лет», посвящённом созданному Шапориной театру марионеток. Эти записи дают ценный материал для реконструкции повседневной жизни послереволюционного Петрограда: описание быта, царившей в городе психологической атмосферы; рассказ о том, как и где добывались продукты и прочие товары, сколько они стоили в магазинах и на рынках; как население воспринимало трудодни и какими были нормы выработок и т.п. (I, с. 94–95, 99, 102, 115, 126, 171–173, 242).

³ В 1949 г. Шапорина сделала специальную вставку в дневнике, дополнив запись о послереволюционном Петрограде. «Как обидно, что я тогда не продолжала мои записи. Но некоторые факты я помню так, как будто это было на днях», – писала она 21 октября 1949 г. и далее подробно изложила свои воспоминания о тех днях (I, с. 58–73).

Безусловно, послереволюционная Россия отражена в дневнике прежде всего сквозь призму восприятия её старой интеллигенцией. Однако Шапорина с интересом слушала и рассказы окружающих её мещан, крестьян, разговоры в очередях и в транспорте. Отдельное внимание следует уделить записям военных лет. Более чем на двухстах страницах в дневнике детально описывается обстановка в военном Ленинграде, нормы продовольственного обеспечения и быт, бомбардировки, настроение населения. Все эти годы Любовь Васильевна много работала. С июля 1941 по июль 1942 г. она была медсестрой в госпитале при глазной лечебнице. Затем 2 года собирала материалы на тему «Театр и музыка в условиях блокады» для Научно-исследовательского института театра и музыки. За это время Шапорина собрала колоссальный материал по истории Военно-шефской комиссии, деятельности бригад Дома Красной армии, Театра Балтийского флота, ТЮЗа, кукольных театров, Союза композиторов и т.д. В 1944 г. помимо активной исследовательской работы в сфере истории культуры она переводила с французского языка научную медицинскую литературу для Нейрохирургического института. Всё это нашло отражение в дневниковых записях.

В послевоенный период, наряду с описанием послевоенной разрухи, Шапорина всё больше внимания уделяет семейным делам. Постепенно на передний план вновь выходят её душевные переживания, бытовые сюжеты, семейные обстоятельства, конфликты с сыном и невесткой, а также обострившиеся проблемы со здоровьем. Лишь вопросам культуры и искусства автор неизменно уделяет много внимания. И это неудивительно. Ведь круг общения Шапориной составляли в основном писатели, художники, музыканты, артисты. Она была близко знакома с А.Н. Толстым и его семьёй, с В.Э. Мейерхольдом, К.С. Петровым-Водкиным, К.А. Фединым, А.А. Ахматовой, Н.В. Крандиевской, Г.В. Свиридовым, Д.Д. Шостаковичем и многими другими известными деятелями отечественной культуры. Её муж, Ю.А. Шапорин, – известный композитор и музыкальный педагог, лауреат трёх Сталинских премий. Сама Любовь Васильевна была разносторонне одарённой художницей, писала портреты, резала гравюры, делала куклы, переводила с четырёх языков, разбиралась в архитектуре, тонко чувствовала музыку, оказала огромное влияние на творчество своего мужа. Крайне любопытны, в том числе и с профессиональной точки зрения, оценки Шапориной театральных постановок, художественных переводов и литературных публикаций тех лет. В связи с вышесказанным очевидно, что дневник Любви Васильевны является кладезем информации для историков отечественной культуры, литературы и искусства.

Одновременно её дневник – исключительно ценный источник также и по экономической истории, и по истории потребления. Редко можно встретить дневник человека искусства, настолько наполненный цифрами и мелкими деталями быта. Шапорина регулярно и педантично записывала все подробности продовольственного обеспечения и питания: какие продукты и в каком количестве полагались по карточкам на одного человека в тот или иной период, насколько различались продовольственные нормы разных категорий населения, что представляла из себя еда в столовых, где и как добывали дополнительное питание. Записывала Шапорина и размер своей зарплаты с указанием полагающихся вычетов, сумму получаемых ею отпускных и систему, по которой их рассчитывали; периодически фиксировала размер гонораров за переводы и другую работу. По возвращении из магазинов Любовь Васильевна тщательно

фиксировала подробности своего похода за покупками: что выставлено в витринах, какие товары есть на прилавках, в каких отделах самые большие очереди, сколько времени пришлось простоять за тем или иным товаром; сравнивала цены в магазинах и на рынках. Будучи вынуждена, чтобы выжить и прокормить детей, продавать дорогие её сердцу книги, Шапорина подробно описывала свои походы в книжный магазин, трогательно в деталях рассказывая о книгах, которые ей приходилось продавать, указывала суммы вырученных за них денег и на что она эти деньги потратила (I, с. 94–95, 99, 102, 115, 126, 171–173, 256, 259, 455, 477, 485, 505; II, с. 16, 20, 34, 36–37, 42, 48, 61–62).

Нельзя не отметить и замечательный язык автора. Получившая прекрасное образование, интересовавшаяся литературой и профессионально занимавшаяся переводами как художественных, так и научных текстов, Шапорина блестяще владела словом и при этом была крайне откровенна в своих записях. Дневник для неё – «единственный друг», с которым можно «отвести душу» (I, с. 101).

Откровенность Шапориной, вызывая уважение к её смелости, в то же время порой шокирует. Автор довольно категорична и резка в своих оценках, не всегда представляющих мне обоснованными. Наряду с политически смелыми высказываниями встречаются и неэтичные и даже шовинистические оценки. Так, например, в 1927 г. Шапорина пишет: «Но негры – раса низшая, ...нигде нет той подлой животности, какой-то порнографической животности, как у негров. И только это. Больше ничего нет, и больше они ничего не видят. Следовательно, у них нет будущего» (I, с. 75). Впрочем, немногим выше оценивала она тогда же и русский народ: «Меня ужас берёт при мысли о России. Одичавшая, грубая жизнь, грубый язык» (I, с. 74). Несмотря на любовь к народному творчеству и проявляющееся периодически сочувствие к крестьянам и беднякам, Шапорина явно относится к ним свысока. Это ощущение своего интеллектуального и духовного превосходства над «простым людом», очевидно, сказалось и на восприятии ею послереволюционных преобразований. Следует также учесть сложную жизненную ситуацию и личную трагедию автора дневника. Из-за отсутствия взаимопонимания с матерью и недостатка материнского тепла она с детства остро ощущала душевное одиночество, болезненно искала смысл жизни. Семейная жизнь у Любови Васильевны не сложилась, брак вскоре превратился в мучительную формальность. И самое главное – тяжёлая болезнь и трагическая смерть обожаемой малолетней дочери, Алёнушки. Всё это неизбежно отложило отпечаток на мрачном мировосприятии Шапориной, её отношении к окружающей действительности и происходящим событиям.

Шапорина не скрывает своей ненависти к советской власти и всему советскому. «Сволочи. Я не могу, меня переполняет такая невероятная злоба, ненависть, презрение»; «глупые, разевшиеся морды Сталина и Молотова»; «тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян, расстрелян – это слово висит в воздухе»; «по-моему, всякий честный коммунист и революционер должен бы сейчас пустить себе пулю в лоб»; «донести, сделать гадость, погубить соседа, выслужиться на этом – тоже маниакальная мысль»; «за видимой нищенской жизнью – стон, общий стон однообразным гуденьем звучит над целой страной», и т.п. – такой беспросветной видит Шапорина советскую действительность 1930-х гг. (I, с. 214, 223, 235, 238). Ничего не изменилось в её восприятии советского режима и после Великой Отечественной войны: «У нас режим – это злостная карикатура на социализм и коммунизм»; «нищета кругом подавляю-

щая, стон стоит. Грабежи по городу. Подростки объединяются в банды, девушки prostituteуют»; «каждый из нас – Робинзон, окружённый океаном шпионов и предателей. Там был аффект, у нас холодная жестокость, и кроме Ежова – ни одного русского во главе НКВД за 30 лет»; «была в Третьяковке и осмотрела наконец советский отдел. Какая убогость, бездарность, безвкусие. Просто позор... Такой невиданный в мире регресс» (I, с. 495–496, 499; II, с. 85, 154).

Немаловажно, что источником негативной информации для Шапориной нередко служат слухи, которые она пересказывает на страницах своего дневника. Так, например, в 1930-е гг. Любовь Васильевна сообщает, что, по слухам, в Кремле икру «жрут» бочками, а новорождённых «октябрили в шампанском»; много пишет о массовых самоубийствах, которыми, по слухам, сопровождалась кампания паспортизации. В годы войны Шапорина с лёгкостью поверила слухам о том, что Одесса была оставлена советскими войсками «без нажима немецких войск»; что голод в блокадном Ленинграде был «искусственно создан» советскими «правителями». По улицам военного Ленинграда, судя по записям Шапориной, постоянно ходили пьяные красноармейцы, которые то роняли гранаты, то намеренно бросали их в бомбоубежища, калеча беспомощных стариков, женщин и детей (I, с. 130–133, 224, 274, 276).

Отдавая должное автору дневника и признавая в целом безусловную историческую значимость данного источника, тем не менее хотелось бы предостеречь читателей от его восприятия как некоего исторического справочника, энциклопедии советской действительности, или, как назвал этот текст Сажин, «путеводителя абсолютно по всем аспектам жизни 1920–1960-х гг.». Как и любой дневник, это документ глубоко личный, нуждающийся со стороны историка в серьёзном источниковедческом анализе. Шапорина – личность яркая, неординарная, что, с одной стороны, обусловило достоинства дневника, его информационную насыщенность, а с другой – усилило субъективность и неоднозначность данных автором оценок.

Яркий пример – записи военных лет. Будучи патриотом, искренне любя Россию и родной Ленинград, активно пропагандируя русскую культуру, прежде всего русский эпос, Шапорина, тем не менее, связывала надежды на возрождение России с возвращением в неё эмигрантов и с влиянием Западной Европы. Не скрывала она и своих симпатий к немцам, в том числе накануне и даже в годы войны. «Стыдно за всё. Стыдно за передачи по радио, стыдно за Лозовского... Мне кажется, что я не смогу посмотреть в глаза ни одному немцу, – признаётся Шапорина в октябре 1941 г., – ни одному нашему эмигранту». Как нечто естественное воспринимает она тот факт, что её сын Василий в военные годы «преклонялся перед гениальностью немцев». Всю ответственность за ужасы военного времени она перекладывает с фашистской Германии на советское правительство (I, с. 275, 276). «Рабство, германское иго – так я предпочитаю, чтобы оно было открытым. Пусть на каждом углу стоит немецкий шуцман с резиновой дубинкой в руках и бьёт направо и налево русских хамов, пьяниц и подхалимов» (I, 239). Даже вину за разрушенные бомбами и обстрелами парки и памятники Шапорина возлагает не на нападающих, а на советские войска, которые не пожелали без боя оставить Детское Село: «Немцы предупреждали, чтобы вывели войска. Г. Попов рассказывал, что немцы требовали, чтобы военные части были выведены из парков, если хотят спасти парки. Части не вывели, и Павловский дивный парк уничтожен. Неужели наши власти могут что-либо пожалеть из русской старины» (I, с. 261).

Любовь Васильевна вела дневник на протяжении нескольких десятилетий, вела его для себя, записывая в нём свои мысли, свои переживания, отнюдь не навязывая их кому бы то ни было. Одновременно она фиксировала события и факты, показавшиеся ей важными, необычными, поясняя: «Прочсть будет очень любопытно лет через 5–10» (I, с. 54). Ещё любопытнее читать эти записи сейчас, спустя несколько десятилетий. Практически каждый читатель найдёт для себя в них что-то интересное. Однако дневник Шапориной – это не новое прочтение советской истории. Это взгляд на советскую эпоху глазами одного из представителей творческой дореволюционной интеллигенции. Известный филолог, талантливый литературный критик А.С. Немзер назвал этот текст «грандиозным романом о беспросветной советской ночи и тихой надежде “дожить до рассвета”»⁴. Пожалуй, именно как к роману, чрезвычайно талантливому и сильному, но всё же роману, и следует к нему относиться. Тем же, кто хочет реконструировать историю с помощью дневника Л.В. Шапориной, необходимо рассматривать его (как и любой другой источник личного происхождения) по всем правилам источниковедческой критики, не забывая о базовом принципе верификации источников.

Игорь Нарский: «Прийти к самому себе»

Публикация дневника Любви Васильевны Шапориной была сразу замечена критикой и читающей публикой⁵. Ещё бы: он вышел из-под пера человека, оставившего заметный след в советской культуре и весьма осведомлённого в хитросплетениях «закулисной» жизни литературного, музыкального и художественного бомонда в сталинском СССР. Однако дневник известной художницы, театральной деятельницы, переводчицы, жены видного композитора оценивается, как мне представляется, лишь с одной – наиболее распространённой – позиции: как отражение описываемой действительности⁶. Не случайно в качестве наиболее значительных достоинств этого текста фигурирует непривычно широкий тематический, персональный и хронологический охват зафиксированных в нём фактов.

А что, если попытаться взглянуть на дневник иначе: как на текст, который не только отражает, но и создаёт действительность – действительность, в которой живёт его автор? Другими словами, почему бы не поставить вопрос о том, каким образом его появление вообще стало возможным, почему и для чего Шапориная на протяжении почти 70 лет делала дневниковые записи? Этот вопрос отнюдь не является праздным, поскольку, как принято считать, ведение дневниковых записей в СССР было делом несчастным и небезопасным. Как убедится читатель, открыв дневник чуть ли не на любой странице, высказывания Любви Васильевны о жизни в СССР, о режиме, правителях и населении были более чем рискованными.

Прежде чем попытаться ответить на поставленный вопрос, позволю себе кратко очертить контекст, объясняющий издательский и читательский интерес к обсуждаемому дневнику. Повышенное внимание к личным свидетельствам

⁴ Немзер А. Дожить до рассвета // Московские новости. 2011. 29 июля.

⁵ См., например: Немзер А. Указ. соч.; Барскова П. Плохое время, чтобы умирать // OpenSpace. Ru, 16.08. 2011.

⁶ Эта позиция, на мой взгляд, доминирует и во вступительной статье В.Н. Сажина к дневнику, и в опубликованном выше тексте Т.М. Смирновой.

вообще и к реконструируемой с их помощью повседневности «обычных» людей в частности представляет собой относительно молодой и не вполне типичный для XX столетия феномен. Дело в том, что социальные и политические потрясения прошлого века породили сомнения относительно свободы личности, её способности «делать» историю. Скепсис в отношении персональной истории как нельзя лучше запечатлелся в победе социальной и структурной истории в 1960–1970-х гг. Вопрос о соотношении структуры и личности и о значении последней в историческом процессе был решён в пользу структуры. Действующий в истории человек стал вытесняться социальными процессами, превратившись в зависимую от них марионетку, деградировав до уровня насекомого, тщетно пытающегося вырваться из «паутины» структур. Эта тенденция применительно к 1960–1970-м гг. ясно читается в столь, казалось бы, разных историографических явлениях, как школа «Анналов» во Франции, Билефельдская школа социальной истории в ФРГ, клиометрия в США и количественная историография в духе И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова в СССР.

Лишь в 1990-х гг. неожиданные исторические перемены планетарного масштаба – крах СССР, «социалистического лагеря», биполярного мира и прочих макроструктур – актуализировали в гуманитарных и социальных науках вопрос о взаимодействии личности и общества, индивида и структуры. В историографию стали возвращаться человек и микроструктуры повседневности, восприятия и опыта. В этой связи эго-документы и (ре)конструируемая на их основе повседневная жизнь конкретного исторического актора получили новый шанс на тщательное изучение.

При этом главную примету в интересе современного человека к прошлому более 30 лет назад точно подметил один из основателей устной истории в ФРГ: «Люди уже не столь легковверны в отношении божьего ока или мирового духа; становится труднее почувствовать себя на месте господ и анализировать общественные проблемы сверху, как вопросы порядка, господства и интеграции. Мы в большей степени начинаем интересоваться самими собой, происхождением собственных условий жизни, поведения, образцами толкования и возможностями действий»⁷. Появление в издательстве «Новое литературное обозрение» серии «Россия в мемуарах» и издание в ней «Дневника» Л.В. Шапориной вполне вписывается в эту международную историографическую тенденцию последних лет.

По справедливому замечанию Ж. Гусдорфа, цитируемому в заглавии данного эссе, биография – это «творение (и драма) человека, который всё отдаёт за то, чтобы в определённый момент своей истории прийти к самому себе»⁸. На мой взгляд, мнение французского философа допустимо распространить на мотивы написания и социальные функции «Дневника» Шапориной. Мне думается, что упорное ведение ею дневниковых записей было продиктовано желанием оставаться собой, не потеряться в стремительно меняющейся, зыбкой, неясной и зачастую враждебной действительности. Такая стратегия была усугублена устойчивым чувством одиночества, чему на разных этапах её жизни способствовали сложные отношения с матерью, мужем, сыном,

⁷ Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der «oral history» / Hg. L. Niethammer. Frankfurt a/M., 1980. S. 9.

⁸ GUSDORF G. Voraussetzungen und Grenzen der Autobiographie // Die Autobiographie. Zu Form und Geschichte einer literarischen Gattung. Wege der Forschung / Hg. G. Niggel. Darmstadt, 1989. Bd. 565. S. 140–141.

невесткой, внуками, со спасёнными ею дочерьми репрессированных друзей А.О. и Е.П. Старчаковых, а также смерть в 1933 г. любимой дочери. Сформировавшиеся в юношеском возрасте устойчивый комплекс неполноценности, убеждение в неспособности быть любимой и иметь семью придали ведению дневника компенсаторные функции. Так, в 1935 г. Шапорина писала: «Редко урываю я время, чтобы писать. А к этим тетрадям у меня отношение как к каким-то очень дорогим и немножко запретным друзьям» (I, с. 196). А следующим годом помечена такая запись: «Я часто думаю, зачем я пишу. Непонятно, но иначе не могу. Я думаю, от одиночества и от желания делиться мыслями с кем-то близким, родным, таким существом, какого у меня нету» (I, с. 211). В дневнике она то и дело жалуется на жизнь, будто самому близкому человеку, и неоднократно с долей самоиронии замечает, что для неё дневник – «предохранительный клапан», «книга жалоб», «слезница» (I, с. 114, 119, 120).

Встретив революцию 1917 г. в 38-летнем возрасте, Шапорина ясно осознала беспрецедентность и масштабность происходящих – чужих для неё, принадлежавшей к дореволюционному российскому «образованному обществу», – перемен. И она взяла на себя миссию сохранения для будущих поколений памяти очевидца о пережитом. Не случайно, пеняя себе за то, что она использует дневник как «слезницу», Любовь Васильевна писала, что «надо бы записывать ежедневно самые пустые вещи, так характерные для нашего времени чудовищного гротеска» (I, с. 114). В 1934 г. среди пяти первоочередных творческих задач первые три позиции занимает увековечивание прошлого: «1. Привести в порядок письма. 2. Закончить воспоминания. 3. Написать жизнь Алёны (умершей дочери. – *И.Н.*) и поставить ей памятник, такой, чтобы её не забыли» (I, с. 180). Бережное отношение к прошлому рассматривается ею в 1938 г. как традиция, усвоенная ею в семье, принадлежащая дореволюционной культуре и противостоящая «беспамятству» советской политики и идеологии: «Прежде вещи хранились из поколения в поколение, сохранялись архивы, создавалась история. Теперь сегодняшний день отрицает вчерашний, сегодня расстреливают вчерашних вождей, всё вчерашнее уничтожается и в умах молодёжи. Папа приучил меня болезненно чтить все эти бумажонки, записочки вчерашнего дня» (I, с. 225). Когда ей было за 70, она с ужасом рисовала себе картину уничтожения архива после её смерти: «Наташа (невестка. – *И.Н.*) кричит, безудержно и радостно звонит по телефону, сзывает всех подруг и мелких жидков, и начинается разгром. Сжигают весь мой “архив”, все письма, рисунки, всю мою жизнь. Тащат книги продавать, звонят в коммиссионные магазины, всё продаётся, дарится, через месяц-два ничего нету» (II, с. 173).

С горечью констатируя отсутствие интереса к её «архиву» в близком окружении, Любовь Васильевна надеялась, что плоды её коммеморативной работы могут быть полезны потомкам, которым, по её убеждению, многое будет непонятно в советском прошлом: «Наш будущий потомок, житель сильной и крепкой страны старого континента с буржуазно-демократическим строем, единственно противостоящей Америке, – писала она в 1947 г., высказывая в разгар позднего сталинизма веру в лучшее будущее России, – этот потомок не поверит тому, что будут рассказывать мемуары нашего времени» (II, с. 51). Незадолго до смерти Шапорина с облегчением констатировала, что её дневники не пропадут: «Дневники мои приобретает Публичная библиотека. Это уже спасение» (II, с. 408).

Поставленная мемуаристкой задача спасти прошлое от забвения определила некоторые особенности «Дневника». Автор тщательно фиксирует происходящее, сетует на дефицит прилежности в ведении своего дневника и прибегает к поздним вставкам, чтобы заполнить досадные лакуны. Пространственному описанию событий она предпочитает яркие зарисовки «мелочей», запоминающихся, потрясающих и создающих эффект реальности записанного. Приведу лишь одну из них, из блокадного Ленинграда за 31 января 1942 г.: «По улице выезжала тройка: три бабы, средняя в ярко-васильковом платке с цветами, везли сани, нагруженные трупами. Средняя очень весело, лихо кричала, сверкая зубами: “Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселей, вози знай!” Знаменитые сталинские слова» (I, с. 306). Некоторые эпизоды, произведшие особенно сильное впечатление на Любовь Васильевну, встречаются повторно – например, об обречённом на голодную смерть петроградском чиновнике в конце 1917 г. (I, с. 64 и 94) или о реакции случайной попутчицы-француженки на Брестский мир (I, с. 63 и 237).

Л.В. Шапорина записывала не только увиденное, но и услышанное, в том числе бесчисленные слухи и (особенно в послевоенное время) анекдоты. Помимо информации, услышанной от близких знакомых, она фиксировала истории и высказывания из уст представителей, по её мнению, наиболее важных социальных групп – например, крестьян в период коллективизации («Стоит записывать то, что рассказывают крестьяне», I, с. 89) или раненых солдат во время Великой Отечественной войны («Я никогда не интервьюирую больных. Но прислушиваюсь к их разговорам», I, с. 269).

Наряду с коммуникативной, эмоциональной и коммеморативной функциями дневник, как мне представляется, выполнял и другую жизненно важную для Шапориной задачу: он позволял ей ориентироваться в чужом и пугающем окружающем мире, причём в тройном смысле. Во-первых, работа по систематизации и записи происшедшего структурировала её горькую повседневность, позволяла самоорганизоваться и сконцентрироваться. Это значение дневника Шапорина неоднократно отмечала в старости: «Когда я пишу, я собираюсь с мыслями, сосредоточиваюсь» (II, с. 249). Она замечала, что эта работа позволяет «вправить себе мозги» (II, с. 205), а её отсутствие наводит на неё тоску (II, с. 393). Во-вторых, ведение дневника позволяло ей определить главные опасности, подстерегающие её и её близких, и выявить их виновников. Многочисленные антисемитские высказывания в дневнике были наиболее простым решением вопроса о врагах, импортированным из дореволюционной дворянской культуры. Культурная юдофобия отнюдь не препятствовала ни добрым отношениям Любови Васильевны с отдельными знакомыми еврейской национальности, ни осуждению государственного антисемитизма конца 1940-х – начала 1950-х гг.

Антиеврейскими клише осмысление советского настоящего, однако, не ограничивалось. Оценки советского строя, сформулированные в виде ярких, сокрушительных и язвительных метафор, разбросаны по всему тексту «Дневника». По мнению мемуаристки, датированному 1930 г., «Россией правит чудовищный бред сумасшедшего» (I, с. 86), советская власть в различные периоды ассоциируется с «щупальцами спрута, от которых не уйти» (I, с. 103), с когтями кошки, играющей с пойманной мышью, аттестуется как «стрептококковая инфекция», «чудовищная тирания», дошедшее до белой горячки самодержавие, аракчеевщина, «зверски жестокий режим»; советские правители имену-

ются сволочью, «шайкой глупой полуинтеллигенции», «неучами, обогнавшими Америку» (I, с. 117, 235, 248, 275, 470; II, с. 78, 121, 190, 294), а СССР представляется тюрьмой, каторгой, клеткой для попугая, крематорием, бойней (I, с. 117, 428, 492, 502; II, с. 18, 21, 35, 107, 141, 220). Достается в «Дневнике» и «подлому народу», и «подхалимствующей полуинтеллигенции», и «советскому обывателю-рабу».

Однако этим «ориентация на местности» с помощью ведения дневника не исчерпывается. Её третья составляющая заключается в укреплении собственной веры «в лучшее будущее, в свободную счастливую Россию» (I, с. 84) – веры, которая, за редкими исключениями (1941, 1956 гг.), остаётся у Шапориной неизменной. В 1947 г. она констатировала: «Война, блокада, напряжение всех душевных, духовных сил. Пафос героизма. И потом серые мешанские будни, будни советские, т.е. беспросветные, страшные. Народ безмолвствует. Это выдержать и не свихнуться трудно. Труднее, чем выдержать блокаду. Из всех моих знакомых, кажется, я одна верю в лучшее будущее, в воскресение России. Все в убийственном настроении. Только бы дожить» (II, с. 67). В начале 1930-х гг. мемуаристка связывала надежды на возрождение России с эмигрантской молодёжью, во время Великой Отечественной войны и после неё – с Красной армией и Г.К. Жуковым.

Любовь Васильевна неоднократно жаловалась на то, что не реализовала себя. «Я не выдержала экзамена на жизнь, – писала она в 1933 г. – Меня жизнь сломала, у меня не хватило дарованья, силы, упорства, энергии. Тяжело, конечно, было – но это не извиненье» (I, с. 136). Тринадцатью годами позже она констатировала: «А я тихо прошла мимо жизни, я только смотрела на неё, как сквозь решётку парка» (II, с. 10). Но эта позиция стороннего наблюдателя делает её «Дневник» замечательным историческим источником, ценность которого в том, что его автору дано «видеть то, что людям не дано видеть» (II, с. 65).

Однако – повторюсь – читателю не следует забывать, что в своих дневниковых записях Шапориная не только отражала происходящее вокруг, но и строила и оберегала собственный мир. И этот мир наверняка отличался от «реального»: в нём окружающие, как и она сама, ненавидели сталинский режим («Я не знаю человека, которого бы более единодушно ненавидели, чем Сталина», – писала она в мае 1947 г., в период расцвета позднего сталинизма, II, 47), народ упорно сохранял православную веру, крестьяне безмолвно протестовали против колхозного строя массовым исходом из деревни, а рабочие, в отличие от раболепствующей советской интеллигенции, отваживались на открытый протест против опалы Жукова при Сталине и Хрущёве. В этом мире был смысл, если его и приходилось напряжённо отыскивать. Поэтому, вероятно, вести дневник было для Шапориной экзистенциальной потребностью, перед которой мерк риск оказаться разоблачённой и уничтоженной. Может быть, наряду с возрастом и усталостью автора от жизни, исчезновение такой опасности и отпадение жизненной потребности в регулярной письменной фиксации фактов, эмоций и мыслей объясняет, почему после 1956 г. «Дневник» становится, на мой взгляд, немногословным и менее интересным.

И в этой связи возникает вопрос, на который историкам ещё предстоит ответить и, вероятно, не скоро, так как убедительный ответ потребует долгого поиска и интерпретационного усердия: на самом ли деле «Дневник» Шапориной с невероятно обнажённым антисоветским пафосом столь уникален или можно

рассчитывать на то, что по своему настрою он со временем окажется «серийным»? Другими словами, так ли эффективно удавалось сталинскому режиму затыкать рот «бывшим»? Некоторые факты позволяют с известной осторожностью ответить на второй вопрос отрицательно.

В качестве одного из аргументов приведу в пример эго-документ, опубликованный одновременно с «Дневником» – воспоминания Константина Николаевича Теплоухова (1870–1942), провинциального акцизного чиновника до революции, советского служащего и пенсионера после неё⁹. Авторы роднят общие черты: принадлежность к одному поколению и к одной среде – к российскому «образованному обществу», консервативные идейные установки, включая антисемитские предрассудки, нелюбовь к советской власти, экзистенциальная потребность писать, чтобы защититься от непонятой и непринятой действительности, наиболее интенсивная работа над воспоминаниями в 1930-е гг. – в самый опасный для этого период. Есть некоторая схожесть и в самих текстах воспоминаний: широкий хронологический охват, ирония и самоирония как литературный приём, наличие более поздних вставок, дневниковый характер изложения, погодовой принцип группировки текста. Оба автора сильно рисковали: нагрянуть с обыском к бывшей дворянке, дочери помещика, сестре царских и белых офицеров и «белоземigrants», равно как и к царскому и колчаковскому чиновнику, могли в любой момент. Более того, согласно семейному преданию (рассказанному мне научным редактором мемуаров Теплоухова), во время одного из обысков тетради с его воспоминаниями были обнаружены и арестованы, но затем возвращены за невозможностью расшифровать выполненную карандашом скоропись автора!

Так могла ли сталинская карательная машина полностью остановить критическую мыслительную деятельность думающих людей? Был ли страх перед репрессиями тотален? И парализовал ли он всякое несогласие? Тексты, подобные «Дневнику» Л.В. Шапориной, «Мемуарам» К.Н. Теплоухова и другим обнаруженным и пока ещё не обнаруженным личным свидетельствам, позволят, надеюсь, ответить на эти вопросы более дифференцированно и взвешенно. И, наконец, самое главное: такие тексты, как дневник Шапориной, выполнявшие для их авторов экзистенциальные функции, осознанно или неосознанно позволявшие защититься от неуютной и пугавшей действительности, при внимательном и многослойном прочтении могут стать первоклассным источником для изучения стратегий «идеологического» выживания старшего поколения советских граждан во враждебной среде.

Александр Соколов: «Я никому не жалею, кроме тетради»

Опубликование дневника Л.В. Шапориной существенно расширяет возможности «соприкоснуться» с советским прошлым; сам дневник – из числа открытий, не часто случающихся в практике познания и описания истории. Надо полагать, что он станет предметом анализа гуманитариев разных специальностей. Скорее всего, центральное место займёт при этом вопрос о том, в какой степени объективно автор изображал окружающую действительность. Исследователю, воспринимающему историю СССР под звон фанфар (даже

⁹ Теплоухов К.Н. Мемуары: 1899–1934. М., 2011. Десятью годами ранее была осуществлена публикация большей части этих воспоминаний: *он же*. Челябинские хроники: 1899–1924. Челябинск, 2001.

если звучание временами принимает трагические оттенки), тональность дневника может показаться мрачной, а позиция автора – односторонней.

Поскольку одним из главных правил дискурса историков является правило «доказывания» собственной «объективности», такая точка зрения является наиболее вероятной. Однако сосредоточение на вопросе, заслуживает ли источник доверия, вызывает сомнения: методологически такой подход предполагает, что историк «подгоняет» источник под имеющуюся у него интерпретацию затронутых в дневнике событий. Если источник в основном подтверждает сложившуюся в голове историка версию, то он рассматривается как вызывающий доверие. Если же обнаруживается, что использование его для подтверждения собственной концепции вызывает затруднения, то он объявляется субъективным. Скептицизм проявляется тем сильнее, если источник носит личностный характер, а ведь дневники относятся к документам именно такого рода. Им изначально приписывается субъективизм. С моей точки зрения, такая позиция небесспорна. На самом деле, никакой, к примеру, официальный документ ни на йоту не более объективен, чем дневник или воспоминание. Возьмём постановление ЦК ВКП(б), прямо касавшееся М.М. Зощенко («специализирующегося на писании пустых бессодержательных и пошлых вещей, на проповедовании гнилой безыдейности») и А.А. Ахматовой (чья «литературная физиономия давным-давно известна советской общественности»), а опосредованно – всех, кто был связан в СССР с культурой. У Шапориной читаем: «Полились вёдра помоев на того и другого. Писатели выступали один подлее другого, каялись, били себя в грудь... А литература давно в тюрьме. Теперь на неё окончательно надели намордник. Велено больше не писать исторических романов, лирики, необходимо освещать строительство и восстановление. Стыд, конечно, не дым» (II, с. 21). Какой же из двух этих текстов адекватнее отражает историческую реальность? В сущности, любой источник – не более чем выражение индивидуального или коллективного отношения, позиции, которая в ином контексте может быть пересмотрена.

Для меня обращение к дневнику Шапориной – это и повод, и доказательство потребности внесения корректив в работу с источниками, ибо и сегодня культура российского историка базируется преимущественно на позитивистских принципах. В ней предполагается существование некоей «правильной» истории, которая «действительно существовала» и которая доступна восприятию исследователя. Мне методологически ближе позиция, позволяющая смотреть на историю как на совокупность равнозначимых свидетельств, благодаря которым прошлое реконструируется в сознании исследователя и в сознании исследуемого им поколения. Не случайно в современной западной методологии истории присутствует тенденция к замене самого понятия «источник» понятием «след». Историк не имеет доступа к исторической правде, но он имеет дело с разнообразными свидетельствами, распутывает множество разных следов. Я предлагаю посмотреть на обсуждаемый текст через призму концепции исторической памяти, ибо воспринимать его надо не в свете позиции «это верно – это нет», а как целостное свидетельство. В нижесказанном есть доля преувеличения, кому-то это вовсе покажется несуразностью, но представим: если в основу изучения советской истории в школе положить не параграфы учебников с их пресловутым принципом научной объективности и идеологической правильности (читай: пристрастности), а, к примеру, дневниковые записи Шапориной, то это было бы куда ближе к правде жизни, куда больше бы трогало

души. Не абстрактные истины сегодняшнего дня, формулируемые средствами истории преимущественно по идеологическим соображениям, а опыт человека во времени – вот что на самом деле важно. Этот дневник замечателен тем, что даёт возможность сопереживать. Субъективность дневниковых записей – это не недостаток, а преимущество, это не преграда, а фактор, помогающий формировать личностное отношение к истории, что, в конечном счёте, и является главным оправданием для занятий ею.

Чтение дневника произвело на меня сильное эмоциональное воздействие, и я не думаю, что надо стесняться этого, прикрываясь все теми же принципами научной объективности. Особенно это касается отношения Шапориной к Сталину и созданному им режиму. Я часто думаю: почему сегодня столь многие готовы прославлять сталинизм? Почему у этих людей атрофирован нерв сочувствия? Я иногда говорю студентам: просто поставьте себя на место тех людей, которых злая судьба превратила в лагерную пыль. По воле тирана они были убиты или лишены того, что и составляет человеческую жизнь, которая, как известно, у каждого только одна. На что можно было надеяться, оказавшись у последней черты? Наверное, только на посмертное воздаяние, на то, что история будет справедлива. Увы, от истории, рассматривающей Сталина как «эффективного менеджера», трудно ожидать справедливости. С уходом поколений память уходит, а история становится «контр-памятью». Дневник Шапориной наполнен сочувствием и ужасом, он хранит память; на его страницах, написанных в разные годы, в том числе при Сталине, отношение к тирану и его приближённым не скрывается; не «разоблачение культа» раскрыло ей глаза. Приведу только одну цитату, слова, относящиеся к 1961 г., на которые она имела право, ибо своего мнения никогда не меняла: «Судят Эйхмана в Иерусалиме. Свидетели одни за другим рассказывают такие ужасы нечеловеческие, чудовищные. XIX столетие от них отвыкло, для нас, людей доатомной эпохи, всё это неправдоподобно. Да, неправдоподобно. Как страшный сон. А когда же будут судить Сталина? Когда же громко, подробно изложат его кровавые дела? Этот зверь почище Эйхмана по количеству убитых, пытаных, загубленных людей, по количеству пролитой крови, по тому вреду, который он принёс России» (II, с. 388). Конечно, люди приспособляются к обстоятельствам и для служения злу могут найти оправдания. Но разве дневник Шапориной не есть аргумент против тех, кто вопреки всему предпочитает конструировать советскую историю в духе самой сталинской пропаганды? Он однозначно опровергает стереотипы, насаждавшиеся десятилетиями и насаждаемые сегодня в определённом спектре историографии и общественного мнения: о если не безбедной жизни, то о постоянно улучшавшемся благосостоянии народа; о порядке на улицах; о счастливом детстве; о социальной справедливости; о лучшем в мире образовании и т.д. Для меня чтение дневника было покаянием не только перед невинно репрессированными, но и перед поколениями моих родителей и дедов, которым пришлось вынести трудности в мирной и военной жизни, которые, к счастью, не выпали на нашу долю и долю наших детей. Неужели *это* сделало нас бесчувственными? Неужели *это* порождает пренебрежительный, свысока, взгляд на прошлое? В былые времена, в отличие от нашего, в котором значение истории увязывают прежде всего с политическим воспитанием, с патриотизмом или иными схожими понятиями, смысл обращения к истории видели преимущественно в формировании положительных моральных качеств, добродетелей. Обучение истории было частью того, что называли моральной философией. Утратив это свойство, сме-

стив акценты, общество что-то потеряло. Дневник Шапориной может помочь быть чуть более нравственными. У Р. Коллингвуда есть замечательная фраза: «История есть самопознание духа». Соприкасаясь с мыслями, настроениями, ощущениями других, мы включаем свой опыт в опыт поколений.

В обсуждаемом дневнике есть черта, усиливающая эмоциональное восприятие текста: удивительное сочетание жизненных деталей, подробностей, что является свойством этого жанра, и обобщений, ярких своей метафоричностью, свидетельствующих об авторской способности описывать жизнь «широкими мазками». Чего стоит её взгляд на XX век, по сути перечёркивающий любимое историческими оптимистами и позитивистами представление об истории как о непрерывном движении по линии прогресса (современным вариантом такого рода теорий являются модернизационные схемы). У Шапориной читаем: «Вся планета вздыбилась за кровавый XX век. И наиболее кровавым он был у нас с 1917 по 1953 год; 36 лет кровавого кошмара. Теперь многие говорят: почему Шалапин не вернулся, ему так хотелось на родину. На родину – да. Но не в кровавый котёл. Когда думаешь о том времени, темно в глазах становится» (II, с. 381–382).

Хочется сказать особо о страницах дневника, относящихся ко времени блокады Ленинграда. Хорошо известно, что историческая политика менялась: было время, когда эта, возможно, самая ужасная страница не только истории войны, но и всей человеческой истории замалчивалась. В 1960–1970-е гг. память о блокаде стремились возродить и сохранить – огромная заслуга в том О. Берггольц и создателей «Блокадной книги». В её основе лежала устная история, однако воспоминания подвергались цензуре и самоцензуре. Дневники, если они не предназначались для печати, были откровеннее и точнее, хотя бы потому, что писались по горячим следам. Знакомство с современными школьными учебниками истории показывает: в подавляющем большинстве их авторы ограничиваются краткой и поверхностной информацией о блокаде¹⁰. Упоминание о числе жертв или о дневнике Тани Савичевой «не работает». Некоторые учебники и вовсе описывают лишь военные усилия по снятию блокады. Дело в том, что воссоздание трагедии умирающего города приходит в противоречие с тенденцией «романтизации» войны, тем более заметной с уходом военного поколения.

Как известно, до недавнего времени в освещении блокады существовали табу, к числу которых относились, в первую очередь, каннибализм, мародёрство, пораженческие настроения части населения. Фотографам запрещалось изображать на снимке более трёх трупов. Не то чтобы Шапорина рассказала о том, о чём не было известно по другим дневникам. Некоторые другие свидетельства не менее натуралистичны¹¹. Однако записи Шапориной создают впечатление жизни, «вывернутой наизнанку». «Воровство неслыханное», «бесчисленное количество трупов, которых не хоронят за отсутствием гробов», «мрут, мрут безостановочно», «мертвец прыгал, танцевал в колясочке», разговоры, что «отрезают мягкие части тела и едят их» (I, с. 289, 290, 295, 306, 323) – эти ремарки можно множить. Конечно, это можно назвать «мрачным мировосприятием». А каким ещё оно могло быть! Но человек не статичен, его настроения и ощущения жизни всегда изменяются, и подводить взгляды под общий знаменатель –

¹⁰ См.: Соколова М.В. Историческая память и школьный учебник // Дидактика истории и обществознания: от школы к университету. Вып. 2. Школьный учебник истории. Ярославль, 2010.

¹¹ См.: Блокадный дневник 3.3. Шнитниковой // Вопросы истории. 2009. № 5–6.

дело неблагодарное. В дневнике можно найти понимание, что город принесён в жертву: «Великий Сталин даёт нелюбимому Ленинграду умереть голодной смертью» (I, с. 293), или ироничное замечание о том, что ленинградцы – жертвы во имя коммунизма. Но в нём и радость, что «теперь мы лучше оснащены и эффективнее охраня. Как зажужжат наши, так на душе спокойнее, не то что осенью, когда немцы были хозяевами положения» (I, с. 320–321). Мог ли такой человек, как Шапорина, не задуматься: «Нужна эта жертва многомиллионным населением политически или стратегически? Может быть – да, нужна. Но всё же это единственный, первый случай в мировой истории годовой (к моменту написания этих строк. – А. С.) блокады и подобной смертности. Конечно, совершенно неправильно, а для социалистического государства преступно, что одни слои населения питаются за счёт других» (I, с. 333).

Тем не менее у меня есть чувство, что мировосприятие Шапориной нельзя назвать «мрачным». У нее есть эпизод, относящийся к апрелю 1942 г., до удивления напоминающий документальный рассказ Ольги Берггольц «В бане», с тем немалым различием, что у Шапориной и мывшихся с нею «сухих», «поджарых», «высохших» женщин зрелище «нескольких молодых тел, свежих, неусохших» не вызвало озлобления и даже ярости. У одной девушки «фигура греческой статуи, какой-нибудь Атланты, Дианы в молодости. Высокая, с длинными ногами, чудесной линией бёдер, небольшой крепкой грудью. Я не удержалась и высказала ей своё восхищение, она пожаловалась на слабость и боль в ногах» (I, с. 318). Какой разительный контраст с рассказом Берггольц! Кто бы спорил: любой сценарий мог иметь место, но то, что сознание избрало такой, в общем, оптимистический взгляд, дорогого стоит.

Возвращаясь к дневнику в целом, хотелось бы отметить ещё несколько моментов, которые многие историки, скорее всего, воспримут как второстепенные. Значительная часть содержащейся в нём информации может быть отнесена к разряду слухов. Шапорина часто отмечала, от кого она узнала о том или ином случае. С моей точки зрения, это не лишает дневник достоверности; конечно, могли быть неточности и даже выдумки, но и сами по себе они есть выражение ментального состояния, интересующего историка. Кроме того, граница между слухом и фактом размыта. Зато Шапорина, кажется, нигде не пишет, кто рассказал ей тот или иной анекдот – их так много на страницах дневника. Анекдоты не второстепенны в её записях; они отражают не только её собственные представления, но общественную ментальность. По преимуществу они антисоветские; некоторые отражали националистические или антисемитские стереотипы автора дневника: «Что такое социализм? – Еврейская теория, грузинская практика и российское долготерпение» (II, с. 348). Не все анекдоты Шапориной нравились; некоторые были «глупы и неостроумны» (II, с. 367). Специального внимания требуют сны, которые она часто записывала на страницах дневника. В современной историографии признано: дневниковые записи снов могут служить важным источником для понимания ментальности; записывая (или конструируя) сны, авторы озвучивают свои страхи и ожидания.

Внимание читателя, несомненно, будет привлечено патриотизмом автора. Я исхожу из того, что каждый имеет право на своё чувство любви к родине, и не всё у Шапориной импонирует мне. Речь не только о признании особенности русского народа и «пути России», её «миссии», об элементах ксенофобии, нелюбви к некоторым народам и расам, кажушимся ей отсталыми, но и о выстраивании патриотической риторики в духе мета-нарратива: «Сейчас молилась. И внезапно

поняла огромную поступь истории. Люди живут, страдают, гибнут, происходят смуты, революции, но выше наших бед, утрат, горя существует страна, страны, плывущие по своему непреложному историческому фарватеру, не считаясь ни с чем, выполняют свою историческую миссию и сходят на нет, передавая накопленное наследнику своих духовных богатств. Я вдруг почувствовала эту живую, громадную полнокровную силу, идущую надо мной, над нами, через нас, давя и дробя, всё, что попадаете ей под ноги, но идущую верной дорогой к назначенной цели. И будущее воздаст должное, кому надо, и Немезида существует. И никакие глупости нашей директории не помешают, не свернут Россию с её пути. Господи, помилуй нас, да святится имя Твоё. Но страшно за Россию, уж очень надорваны силы, люди умирают на ходу, пущенные «на износ»» (II, с. 354–355). Или: «Несчастливая, несчастная Россия. Пора, давно пора составить синодик, список всех погибших, замученных, расстрелянных миллионов русских лучших людей. И какая богатая, плодородная русская земля, где несмотря ни на что, рождаются новые молодые силы» (II, с. 400). Даже советскую власть, но не отдельных личностей, особенно Сталина, она, хоть и с оговорками, готова признать как силу, благодаря которой «мы отбились от всех, кто надеялся взять Россию голыми руками, и стали сильнее, чем когда-либо» (II, с. 386). Православная вера и могучая Россия – два столпа, на которых базировался её патриотизм.

Будущие исследователи дневника Шапориной, несомненно, посмотрят на него как на женский дневник. Эта тема требует специального анализа, и я не рискую формулировать сколько-нибудь обоснованные выводы, но игнорировать гендерный аспект представляется неверным: пером водило не бесполое существо. Поэтому, рассматривая дневник Шапориной в контексте истории женского письма в России, ограничусь отдельными тезисами. По мнению английской исследовательницы К. Келли, в России преобладает точка зрения, что сочинения женщин не так интересны, как сочинения мужчин, «и в самом деле, как относиться к ним иначе, если женский опыт *уже* громадного мужского в делах социальных и политических, что и отразилось в доминирующем дискурсе русской литературы». Она объясняет это особенностями русской культуры, которая в отличие от западной культуры консервативна, склонна к абсолютизации мнений авторитетов как истины, к игнорированию того несомненного обстоятельства, что любая мысль была высказана в определённом политическом и историческом контексте. Только в России возможно, чтобы взгляды, сформулированные в 1820-х гг., в 1990-х гг. цитировались для доказательства эстетических теорий или критических суждений¹².

Вместе с тем, прослеживая исторический контекст, в частности, послереволюционного времени, Келли утверждала: женщины не в меньшей степени, чем мужчины, были готовы принимать идеи, подталкивавшие их к сотрудничеству с большевистским режимом, – «фактически, классовое происхождение играло большую роль в идентификации с делом коммунизма, чем гендер». Опорой «культурной революции» были люди относительно низкого социального происхождения, которых Келли назвала «малой интеллигенцией» (*petty intelligentsia*). Эти люди благодарили власти за возможность продвижения, разделяли выработанные ею идеологические и культурные установки, для многих был характерен юношеский идеализм, свою роль играла «политика зависти»¹³.

¹² Kelly C. A History of Russian Women's Writing, 1820–1992. Oxford, 2005. P. 3.

¹³ Ibid. P. 234.

В этом смысле Шапорина действительно являлась человеком «доатомного века».

Другая исследовательница русской женской литературы, в том числе автобиографической, американка Б. Хелд, признавая, что авторы, мужчины и женщины, могут принадлежать к одной литературной культуре (хотя не всегда при этом принадлежат к одной социальной культуре), всё же акцентирует внимание на различиях. Они находят выражение как в жанровом отношении (жанр автобиографии представляется ей скорей женским), так и в риторике¹⁴. По мнению Хелд, мужские и женские автобиографии «значительно различаются в артикулировании Я-концепции». Так, мужчины редко говорят о своих семьях. Часто вспоминая собственное детство, они редко говорят о себе как родители. Напротив, семьи и особенно дети постоянно присутствуют в автобиографиях женщин, даже если они физически отделены от матери. Чертой многих женских автобиографий является значимость конструирования отношений «мать–дочь». Как не вспомнить здесь дневник Шапориной, причём не только её непростые отношения с матерью, но и постоянное «присутствие» на его страницах дочери Алёны, даже после смерти последней. В то же время, как считала Хелд, для русских женских автобиографий в большей степени, чем для европейских, была характерна озабоченность социальной и политической реальностью, особенно российской¹⁵.

Я не смешиваю автобиографии и дневники, хотя и думаю, что в подходе к ним больше общего, чем различий, хотя бы в плане гендерных предпочтений в риторике. Вопрос о гендерных особенностях текста (равно как профессиональных, социальных, конфессиональных или иных) не кажется праздным. Назову три принципа исследования личностных нарративов, которые, ссылаясь на Марка Штейнберга, выделяет С. Симмонс: 1) новое понимание важности повествующей силы малых рассказов и отдельных голосов, обнаружение значимости в том, что ранее казалось маргинальным; 2) влияние, которое язык, образы, символы, мифы, этические представления оказывают на восприятие людей и их поступки; 3) постановка критических вопросов к тексту с целью выявления умолчаний, множественных или противоречивых значений, парадоксов, амбивалентности или двусмысленности¹⁶. Думаю, что изучение дневника Шапориной на основе этих принципов текстового анализа могло бы существенно дополнить представление о нём, формируемое на базе общеисторического метода.

Наконец, отмечая огромную работу, проведённую публикатором и автором вступительной статьи В.Н. Сажиним, выражаю некоторое сожаление по поводу того, что в издании нет упоминания о том, что отрывки из дневника Шапориной уже публиковались на Западе. Мне известны две такие публикации. Первая вышла в США в 1995 г.¹⁷ У меня была возможность ознакомиться с немецким изданием этой книги, появившемся в 1998 г. В ней приводится часть дневниковых записей Шапориной за период с 1935 по 1939 г. Второй сборник, также выпущенный в США, посвящён блокаде Ленинграда и содержит

¹⁴ Heldt B. *Terrible Perfection*. Bloomington, 1987. P. 6.

¹⁵ Ibid. P. 64.

¹⁶ *Writing the Siege of Leningrad: Women's Diaries, Memoires, and Documentary Prose* / Ed. by C. Simmons and N. Perlina. Pittsburg, 2002. P. 211.

¹⁷ *Intimacy and Terror. Soviet Diaries of 1930s* / Ed. by V. Garros, N. Korenevskaya, T. Lahusen. N.Y., 1995.

довольно обширное авторское введение¹⁸. В этой книге опубликовано тридцать источников, соответственно, объём включённого в книгу материала отдельных авторов невелик. Так, выдержки из дневника Шапориной, открывающие документальную часть книги, размещены всего на трёх страницах. Это отрывки из её записей за сентябрь 1941 г. Понятно, что в отличие от рассматриваемой публикации 2012 г. эти сборники имеют скорее познавательное и образовательное значение. Тем не менее игнорировать их вряд ли правильно: они позволяют судить, в каком контексте представлены записи Шапориной, какими теоретическими подходами к анализу женских дневников руководствуются зарубежные публикаторы, какие оценки существуют в современной западной историографии по поводу блокады.

Если из «Интимности и террора» не ясно, как именно источник оказался в руках публикаторов, то в книге «Описывая блокаду Ленинграда» определено указано на Валентину Фёдоровну Петрову как на специалиста, подготовившего рукопись, как можно понять, всех дневников Шапориной к публикации¹⁹. Она сама поделилась с составителями книги информацией о Шапориной и передала им отобранные ею же отрывки. В этой книге помещено интервью Петровой (трудно сказать, полностью или частично), в котором Шапорина упоминается. Отвечая на вопрос интервьюера, Петрова заметила, что она ходила на службы в Никольский собор, а Шапорина, жившая на Шпалерной, посещала Преображенский. Возможно, автору вступительной статьи следовало подробнее сказать о судьбе самой рукописи и дать читателям информацию о роли Петровой, чьё имя приведено на титульной странице в траурной рамке, в подготовке её к публикации.

Олег Будницкий: Случайно уцелевшая

Дневники сталинского периода советской эпохи уже по меньшей мере полтора десятилетия привлекают к себе повышенное внимание исследователей. Как и другие эго-документы, они служат для историков материалом для изучения «советской субъективности». Учёных по большей части интересует становление «нового человека», причем преимущественное внимание уделяется тому, как советские люди учились «говорить по-большевистски», как даже «ущербные» в социальном плане занимались «самовоспитанием», пытались «встроиться» в современную эпоху, овладеть её языком²⁰. Именно под этим

¹⁸ Writing the Siege of Leningrad...

¹⁹ Ibid. P. 21.

²⁰ Kotkin S. *Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization*. Berkeley, 1995; *Halfin I., Hellbeck J.* Steven Kotkin's «Magnetic Mountain» and the Soviet Subject // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1996. Vol. 3. P. 331–342; *Halfin I.* From Darkness to Light. Class, Consciousness and Salvation in Revolutionary Russia. Pittsburgh, 2000; *idem.* Looking into the Oppositionists' Souls: Inquisition Communist Style // *Russian Review*. 2001. July. Vol. 60. № 3. P. 316–339; *idem.* Terror in My Soul. Communist Autobiographies on Trial. Harvard, 2003; *Hellbeck J.* Fashioning the Stalinist Soul: The Diary of Stepan Podlubnyi (1931–1939) // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 1996. Vol. 3. P. 344–373; *idem.* Speaking Out: Languages of Affirmation and Dissent in Stalinist Russia // *Kritika*. 2000. Vol. 1. № 1; и др. Замечу, что работы Хеллбека и Игала Халфина вызвали довольно оживлённую полемику. Интервью Халфина и Хеллбека и критический, временами очень резкий, анализ их работ, так же как проблемы советской субъективности, предпринятый Александром Кустаревым, Дэвидом Хоффманом, Джереми Смитом, Светланой Бойм, Ильёй Герасимовым, Аллой Сальниковой, Дитрихом Байрау и Ясухиро Мацуи, см.: *Ab Imperio*. 2002. № 3. С. 209–417.

углом зрения Йохен Хеллбек рассматривает дневники 1930-х гг.²¹ Гораздо меньше внимания уделялось протестным настроениям²². Не вдаваясь в историографические подробности, отмечу одну особенность: исследователей привлекали прежде всего дневники молодых людей, причём рассматривались они преимущественно как источник по формированию «души» человека сталинского времени, а не, скажем, по истории повседневности 1930-е гг. Дневник Л.В. Шапориной – создание женщины, сформировавшейся как личность совсем в другую эпоху, говорить по-большевистски не научившейся и не стремившейся это сделать. Автор дневника пыталась сопротивляться, приспособливаться и выживать в условиях сталинского режима. «Сопротивление», впрочем, носило исключительно «внутренний» характер хотя бы потому, что Любовь Васильевна вовсе не была изгоем в советском обществе, более того – принадлежала к его культурной элите.

Шапориная (урождённая Яковлева) была женой композитора Юрия Шапориной; брак оказался крайне неудачным и, хотя распался далеко не сразу, большую часть супружества был скорее условным. Впрочем, «статус» Шапориной, её знакомства и «вхожесть» в дома знаменитых деятелей русской/советской культуры определялись прежде всего её личными качествами, а не положением её знаменитого мужа.

Дневник Шапориной не слишком систематичен: первые записи датируются 1898 г., однако в дореволюционный период и вплоть до начала 1930-х гг. они фрагментарны, не всегда регулярны и в советский. Собственно, по-настоящему дневник становится дневником в 1930-е гг., как раз в тот период, когда дневники вести боялись, а многие их уничтожали. В результате сложился текст, который его публикатор Валерий Сажин справедливо назвал «не имеющим аналогов среди опубликованных на сегодняшний день дневников советского периода» (I, с. 6). Я остановлюсь на отражении и осмыслении автором ключевого явления советской истории 1930-х (да и не только тридцатых) годов: Большого террора, так же как предшествующего и последующего «террора малого» (который малым можно счесть разве что в контексте советской истории).

Любовь Шапориная живёт в стране, где «обыватели» знают не только, что часть населения, «самая работающая и хозяйственная», «расстреливается и пускается по миру» (I, с. 86), но и как именно расстреливается: «У нас расстреливают в спину, в затылок, чуть ли не в упор²³. Можно ли придумать более подлую казнь, более подлый народ? Меня начинает искренне возмущать, когда во всех бедах обвиняют правительство, большевиков. Народ подлый, а не правительство, и, пожалуй, никакое другое правительство не сумело бы согнуть в такой бараний рог все звериные инстинкты. Я помню этот звериный оскал у мужика при делёжке покосов» (I, с. 102). Противоречие очевидное и не единственное в дневнике: автор винит власть в расправе с мужиками (запись о расстрелах

²¹ *Hellbeck J. Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, Mass, 2006.* См. содержательную рецензию Юлии Херцберг на эту книгу: Отечественная история. 2008. № 1. С. 200–202.

²² *Davies S. Popular Opinion in Stalin's Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941. Cambridge, 1997* (рус. пер.: Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие, 1934–1941. М., 2011); *The Resistance Debate in Russian and Soviet History / Ed. by M. David-Fox, P. Holquist, M. Poe. Bloomington, 2003.*

²³ Шапориная, разумеется, не присутствовала при расстрелах. Однако слухи в данном случае были вполне достоверными. См.: *Тепляков А.Г. Процедура: исполнение смертных приговоров в 1920–1930-х годах. М., 2007.*

самой работающей части населения относится к пику «сплошной коллективизации») и тут же славит правительство, сумевшее справиться со звериными инстинктами мужиков. И – добавим уже от себя – поставить звериные инстинкты части населения себе на службу.

«Жуткое ощущение шупальцев спрута, от которых не уйти. И мы маленькие, маленькие мыши», – записывает Шапорина 23 октября 1930 г. И через десять дней: «Уже с месяц, как я никого не вижу и нигде не бываю. И должна сказать, что никуда не тянет. Сейчас люди не верят своей собственной тени, – а вдруг она служит в ГПУ?» (I, 103). Это не 1937-й – 1930-й. Насилие принимает разные формы, применяется по разным поводам и к разным людям. В 1933 г. «язва египетская – “парилки”». Знакомого врача держат в «парилке» (в камере, в которую, по рассказам, нагнетают горячий воздух, а заключённых кормят селёдкой, не давая им воды), чтобы тот сдал золото. Врач где-то проболтался, что у него есть золотые портсигары и другие ценные вещи. В итоге после восьми дней заключения у него всё забрали и выпустили с распухшими ногами. Сидели и ещё несколько знакомых Шапориной. Тогда же происходят высылки в связи с паспортизацией: паспорта давали далеко не всем, и люди были вынуждены уезжать из Ленинграда в течение десяти дней, уезжать неизвестно куда: «Россия сейчас похожа на муравейник, разрытый проходящим хулиганом. Люди суеются, с смертельным ужасом на лицах, их вышвыривают, они бегут, куда глаза глядят или бросаются под поезд, в прорубь, вешаются, отравляются». Шапорина пытается как-то объяснить происходящее, и вдруг начинает «говорить по-большевистски»: «Что всё это: просто непроходимая глупость или контрреволюционное вредительство, иноземное озорство?». Когда-то, в дни революции, ей представлялось, что она чувствует ветер истории: «Тогда мы неслись в бездну. Теперь мне представляется, что мы уже на дне, и смрад кругом, все свалились друг на друга, кто жив, кто мёртв – не разберешь, все копошатся, надеясь куда-то вылезти, не догадываясь, что вылезти некуда, неба не видно. И вот ползают, отталкивают, сбрасывают слабых, кусают, царапаются, стонут. Ужас, вырывают корки хлеба. А над всем этим благополучная верхушка, подкуп писателей и всех, кто может делать рекламу» (I, с. 129–131).

Чрезвычайно интересно отношение автора дневников к «московским процессам» 1936–1938 гг. Если обычно жертвы террора, о которых встречаются записи в дневниках, «свои», если и не знакомые лично, то не принадлежащие, во всяком случае, к власти, то здесь дело совсем другое. Во-первых, подсудимые – большевики, ещё вчера принадлежавшие к властной элите, во-вторых, значительная часть из них – евреи. Не вдаваясь в подробное обсуждение этой темы и поиски корней интеллигентского антисемитизма в стране интернационалистов, отмечу здесь то, что лежит на поверхности: во-первых, признание евреев некоей единой, возможно, международной силой, действующей солидарно и в интересах своего народа, во-вторых, неприятие того, что евреи стали играть несвойственные, «не положенные» им роли. Шапорина, в целом вполне понимавшая постановочный характер процессов, так же как и то, что признания подсудимых объясняются какими-то специальными мерами воздействия на них («Фейхтвангер заинтересовался, почему такая откровенность, – наивник! А гипноз на что?»), в то же время верит в заговор, причём еврейский. Она вспоминает по случаю второго «московского процесса» («Пятакова–Радека») «бумажонку», которую показывал ей сосед по имени в 1917 г. (несомненно,

«Протоколы сионских мудрецов»)), и записывает: «Всё в ней было понятно, непонятно только было в этом плане, как можно социализировать землю, раздробить, а потом вновь восстановить частную собственность, для перехода её в новые, уже сионские руки. И вдруг оказывается, что у господина Троцкого уже всё предусмотрено, готово, аппарат налажен. Потрясающе» (I, с. 150).

Подозрения относительно «сионского заговора» не мешают ей, как это нередко бывает с «идейными» антисемитами, дружить с отдельными евреями. Близким другом Шапориной был заведующий ленинградским отделением «Известий» литератор Александр Осипович Старчаков. После его ареста, приговора к «10 годам без права переписки» и последовавшего затем ареста и отправки в лагерь его жены Шапорина берёт на воспитание двух несовершеннолетних дочерей Старчаковых. Поступок по тем временам просто отчаянный: и с политической и, возможно, ещё в большей степени с бытовой точки зрения.

Как вести себя в условиях террора? Как не попасть (используем избитое сравнение) в его жернова? Ответ как будто прост: минимизировать общение, разговоры со знакомыми и особенно незнакомыми, встречи с потенциальными жертвами. Так решает вести себя, к примеру, М.М. Пришвин, чей дневник уже обсуждался на страницах «Российской истории»²⁴. Шапорина поступает совершенно иначе, хотя отлично понимает, что происходит вокруг: «Просыпаюсь утром и машинально думаю: “Слава Богу, ночью не арестовали, днём не арестовывают, а что следующей ночью будет – неизвестно”. Всякий, как Lafontaine’овский ягнёнок, имеет все данные быть схваченным и высланным в неизвестном направлении» (I, с. 218).

«Всякий», как мы знаем теперь, не было преувеличением. Для Шапориной это были люди её круга, друзья, знакомые. 6 марта 1938 г. она записывает: «Вчера утром арестовали Вету Дмитриеву. Пришли в 7 утра, их заперли в комнату, производили обыск. Позвонили в НКВД: “Брать здесь нечего”. Вета, прощаясь с Танечкой (4 года), сказала: “Когда вернусь, ты уже будешь большая”» (I, с. 220). 34-летняя Елизавета Долуханова (в замужестве – Дмитриева), знаменитая красавица, хозяйка «литературного салона» в 1920-е гг., приятельница Ю.Н. Тынянова, В.Б. Шкловского и прочих формалистов, подруга Лидии Гинзбург, не вернулась. В июне того же года она была расстреляна на Левашовской пустоши под Ленинградом (по другим сведениям – погибла под пытками во внутренней тюрьме). Через две недели Шапорина звонит своей приятельнице поэту Елене Тагер и слышит в ответ, что у неё высокая температура. Шапорину это не насторожило, она знала, что у Тагер ангина. Но когда к концу дня Шапорина отправилась навестить Тагер, то узнала от её дочери, что болезнь гораздо серьезнее – «маму взяли в НКВД». Вернулась она в Ленинград через 18 лет, после 10 лет лагерей, повторного ареста и новой ссылки.

Шанс быть арестованным, высланным или расстрелянным имел в самом деле «всякий». Им мог стать 77-летний Нечай – «царскосельский старый лакей, поляк, у которого в Польше души живой не осталось» или театральный бутафор, «глупенький Лёва»: «С таким же успехом можно арестовать стул или диван». Лёву выслали без следствия, когда жена принесла ему передачу, ей сказали: Чита. «Уж никаких статей теперь не говорят, чего стесняться в своём

²⁴ Пришвин М.М. Дневники, 1936–1937. СПб., 2010. С. 301. Запись от 30 августа 1936 г.

испоганенном отечестве... Морлоки хватают своих жертв, жертвы исчезают, очень многие бесследно» (I, с. 220–221). «У меня тошнота подступает к горлу, когда слышу спокойные рассказы: тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян – это слово висит в воздухе, резонирует в воздухе. Люди произносят эти слова совершенно спокойно, как сказали бы: “Пошёл в театр”. Я думаю, что реальное значение слова не доходит до нашего сознания, мы слышим только звук. Мы внутренне не видим этих умирающих под пулями людей» (I, с. 214). И пять месяцев спустя под впечатлением от очередного показательного процесса и происходивших каждую ночь арестов, в том числе её коллег и знакомых: «Но жить среди этого непереносимо. Словно ходишь около бойни и воздух насыщен запахом крови и падали» (I, с. 221).

Шапорина существовала в «зоне риска». Дворянка, из «бывших», долго жила за границей, брат – эмигрант, дружила или прятельствовала со множеством арестованных. Она имела гораздо больше шансов, чем «всякий», быть «схваченным и высланным». Однако она не пыталась затаиться, не прекращала общения с родственниками арестованных. Более того, как говорилось выше, после ареста Евгении Павловны, жены А.О. Старчакова, последовавшего через год после ареста её мужа, она взяла их детей – 7-летнюю Галину и 9-летнюю Марианну (Мару) из распределителя НКВД и взяла на содержание и воспитание до возвращения матери. На самом деле – на более длительный срок, ибо и после возвращения из лагеря Е.П. Старчакова не имела возможности забрать дочерей.

Более того – Шапорина ведёт «расстрельный» дневник и нисколько не стесняется в оценках советской власти, вождей партии большевиков и товарища Сталина лично. Ничего кроме ненависти и презрения он у неё не вызывает. Осенью 1941 г., когда стало понятно, что предвоенные заявления о мощи Красной армии и разгроме потенциального противника «малой кровью, могучим ударом» – не более чем пропагандистская болтовня, уже в ставшем блокадным Ленинграде, она пишет: «Что думают и как себя чувствуют наши неучи, обогнавшие Америку. На всех фотографиях Сталина невероятное самодовольство. Каково-то сейчас бедному дураку, поверившему, что он и взаправду великий, всемогущий, всемудрейший, божественный Август» (I, с. 274).

Вместе с тем Любовь Васильевна подмечает одну весьма важную вещь – молодые люди, выросшие в советское время, не знавшие никакой другой реальности, кроме советской, воспринимают эту реальность как норму: «Вася (сын Шапориной. – О.Б.) часто возмущается, что я не хожу в кино, в театр. По ним, по современной молодёжи, впечатления скользят, не доходя до сознания. С детства они привыкли к ужасу современной обстановки. Слова “арестован”, “расстрелян” не производят ни малейшего впечатления. А каково нам, выросшим в Человеческой, а не звериной обстановке; впрочем, зачем я клевету на бедных зверей» (I, с. 223). Возможно, одна из самых впечатляющих записей в дневнике относится к реплике Мары Старчаковой, которую советская власть фактически сделала сиротой: «Мара как-то сказала, читая “Буратино”: “Как это Папа Карло не знает, где счастливая страна? Я думала, что все знают, что это СССР!» (I, с. 220). Что это было: неспособность 10-летнего ребенка понять, кто виноват в том, что она лишилась родителей? Или «всё ещё дпящийся испуг»? Как бы то ни было, росло поколение, уверенное в том, что счастливая страна – это СССР, и благодарное товарищу Сталину за счастливое детство.

Записки людей, «выросших в человеческой обстановке», о нечеловеческом времени на удивление сохранились и дошли до тех, кто «будет впереди». То есть до нас. Дело профессиональных историков – использовать этот первоклассный источник по истории сталинизма. Дело общества – понять смысл посланий этих случайно уцелевших пассажиров затонувшего корабля²⁵.

Сергей Яров: Этическая история советской эпохи

Читатели обычно сдержанно оценивают дневники, авторы которых, следуя канве (часто не ими проложенной) и зная о пристрастиях публики, стараются сделать свой рассказ особо поучительным и интересным. Исчезает ощущение достоверности, несмотря на спонтанность и непринужденность языка, обилие сюжетов, «случайных» персонажей и парадоксальных сентенций.

До нас дошли дневники Л.В. Шапориной, освещающие наиболее драматические события российской истории XX в.: революцию 1917 г., репрессии начала 1930-х гг. и 1937 г., блокаду Ленинграда, «оттепель». Едва ли это случайно. Позднейшая компоновка Шапориной текстов, которую невозможно отрицать, вероятно, создавалась и с оглядкой на историографические каноны, – но важнее другое. Внутри дневниковых пластов отбора тематических узлов нет. Рассказ становится похожим на поток сознания, и взгляд читателя порой не успевает следить за мельканием эпизодов и событий, описанных мимоходом, кратко и небрежно. Дневник Шапориной – это, скорее, записная книжка, в которой соединено политическое и бытовое, важное и второстепенное, без какого-либо их разделения и иерархии, но с характерными перебивками авторского почерка: риторические пассажи присущи преимущественно политическим вкраплениям. Возможно, какие-то эпизоды нарочито оттенены позднейшими изъятиями из текста целых страниц. Их логику (и в этом можно согласиться с комментатором книги В.Н. Сажиним) иногда понять крайне трудно: резкие негативные политические и личностные оценки удалены не были.

Скажу прямо, мне редко приходилось читать какой-либо дневник 1920–1940-х гг., содержащий столь частые и незакамуфлированные политические выпады. Исключение, может быть, составляет дневник А.Г. Манькова, но здесь всё-таки чувствуется бóльшая сдержанность в оценках. Удивительно, что всё это пишет человек, вербовавшийся сотрудниками НКВД и вынужденный встречаться с ними – одно это должно было побуждать к большей осторожности. Никаких доносов она не сочиняла и никуда не «сигнализировала», но, кто знает, может быть, ощущение «вины» и жгучая потребность оправдаться побуждала её хотя бы в записях для себя (а возможно, и для потомков) отстраняться от власти каскадом предельно оскорбительных формулировок. Заметим, что публичных выпадов она почти не допускала. Знакомясь с её политическими филиппиками, нередко обращаешь внимание на их безапелляционность, краткость и риторичность. В дальнейшем эти особенности её стиля «обличений» проявляются ещё ярче, чаще всего во времена хрущёвской «оттепели» – возможно, отчасти и вследствие определённой свободы общественных порицаний. Заниматься пространными историсофскими рассуждениями и понимать «чужую правду» она

²⁵ Использую образ М.М. Пришвина, сравнившего ведение дневника с подвигом телеграфиста, утонувшего на «Лузитании»: «Он, погибая, до последнего вздоха подавал сигналы о спасении гибнущих людей» (*Пришвин М.М. Дневники, 1938–1939. СПб., 2010. С. 415. Запись от 6 сентября 1939 г.*).

не желает, как не хочет и скрупулёзно оценивать аргументы «за» и «против» революции. Жестокий век – это жестокий век, и к чему искать его «предпосылки» и «особые условия» – так ведь и до оправданий нетрудно прийти, а для Шапориной это выглядит невыносимым.

Политические оценки – скрепы дневников, и их хлесткий, уничижительный тон, вероятно, в какой-то мере повлиял и на описание повседневного быта и весьма запутанных семейных отношений автора. Полутона здесь редки, портреты людей иногда выглядят готовыми, без предварительных набросков, раз и навсегда отшлифованными. Свои оценки она меняет нечасто, они кажутся не просто устоявшимися, но и окостеневшими. Она охотно верит слухам, если они подтверждают её мнение, и мало заботится о том, чтобы их проверить; их развенчание способно изменить привычные взгляды, а делать это трудно.

Дневник Шапориной – ценнейший источник, позволяющий уловить то в советском обществе, что нередко было скрыто не всегда лишь вследствие жёсткой цензуры, но и потому, что многое очевидцы тех лет считали несущественным. Где мы ещё узнаем о том, что граждане, отчаявшись во время быстро проведённого обмена денег купить на них товары и продукты (они мгновенно были сметены с прилавков магазинов), вынуждены были тратить их в банях и парикмахерских – только бы не пропал ни один рубль. Узнаем мы и о том, как вели себя ленинградцы дома и в гостях, в булочных и на общих собраниях, как робко передавали анекдоты: их источники, как правило, не сообщаются в дневниках, и это не случайно. Ткань исторической картины вдруг становится многоцветной, её очертания – более отчётливыми. Отмеченные в дневнике тысячи мелочей, которые кажутся ненужными, но мимо которых редко удаётся проскользнуть, делают читателя более восприимчивым и наблюдательным. Он порой захвачен их потоком, вырваться из которого может, лишь утратив нить повествования.

Дневник Шапориной – это этическая история советской эпохи. Сколько здесь рассказано семейных историй, и счастливых, и несчастливых, историй откровенных, хотя и подёрнутых пеленой неясных слухов. Поступки каждого её знакомого оцениваются обычно по суровому счёту – и, как в старой публицистике XIX в., нередко ставился один диагноз: сверху – блеск, снизу – гниль. Оценки, конечно, меняются в зависимости от места и времени, от настроения, стереотипов и предрассудков. Они могут противоречить друг другу, могут дополнять друг друга – достаточно сравнить плохо скрываемую неприязнь при описании А.А. Ахматовой в 1945 г. и её позднейшие, довольно мягкие характеристики. Точно так же менялось её отношение к мужу, композитору Ю. Шапорину, которого она презирала и оскорбляла, но которого готова была защищать, если видела, как его подвергают несправедливым нападкам. Она могла всё простить и понять – за доброе слово о себе, за благородную попытку кому-то помочь. Никто из унижаемых, не умеющих за себя постоять, не обойдён ею стороной – везде чувствуется её милосердие, умение сострадать.

Особенно это ощущается в центральной части дневников – в записях блокадного времени. Трагедия Ленинграда описана в тысячах документов – дневниках, письмах, воспоминаниях, интервью – и всё же свидетельство Шапориной можно признать одним из наиболее впечатляющих в блокадной литературе. В дневниках интеллигентов, переживших это лихолетье, чаще заметны быстрые переходы от низкого к высокому, от перечня полученных продуктов до размышлений о достоинстве человека. И записи Любови Васильевны не

являются исключением. Она не щадит ни себя, ни других – мельчайшие подробности распада нравственных норм приведены ею нередко с чрезмерной откровенностью. Не щадит она и власти – редко какая запись не содержит филиппик в их адрес. Обвинения звучат едва ли не в унисон с репликами других очевидцев блокады и показывают одну и ту же скорбную картину: безразличие к судьбам горожан, жестокость, неумение работать в чрезвычайных условиях, заботу прежде всего о собственном благополучии.

Но эта книга – не собрание инвектив. У её автора чуткий слух и острое зрение – из сотен блокадных сцен она всегда заметит и выделит те эпизоды, где проявлялась человечность, доброта, сострадание. Один из самых ярких – описанный ею случай в очереди у булочной, откуда пытались выгнать женщину, покрытую вшами. Ответ блокадницы, защищавшей её, она, кажется, переписала слово в слово – как урок для себя, как пример для других.

Дневник Шапориной – эпопея жизни русского интеллигента, охватившая более шестидесяти лет. Сотни лиц и событий проходят перед нами то словно в замедленной съёмке, то с калейдоскопической быстротой. Комментировать такие книги трудно. Многие детали, понятные современникам, позже становятся «тёмными», и имеющиеся источники лишь отчасти способны их прояснить. В одной из дневниковых записей мы встречаем едкие строки об А.И. Пиотровском, осуждавшем Д.Д. Шостаковича, но в примечаниях подчёркивается, что он нередко выступал в поддержку композитора. Источники новостей, вызывавших недвусмысленный нравственный приговор, могли быть у Шапориной и весьма мутными. Как достоинство поэтому можно оценить такт и сдержанность автора комментариев В.Н. Сажина. Он не навязывает читателю свою версию, но обращает его внимание на те документы (и отчасти публикует их в примечаниях), которые способны представить реалии тех дней более рельефно.

Материал подготовлен И.А. Христофоровым